



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Справедливый человек
(Рассказы)

Николай Лесков
Справедливый человек
Полунощное видение

Я много раз слышал и не однажды читал, что он «исчез», — «справедливый человек» исчез, и исчез не только совершенно без следа, но даже нет и надежды снова отыскать его в России. Это было тяжело, и в то же время не хотелось этому верить. Может быть, дело зависит много от самих тех, кто ищет и не умеет найти «справедливого человека»... Мне припоминался старый водевиль «Спокойная ночь в Щербаковом переулке». Там, я помню, был куплет, что

*И в Щербаковом переулке
Нашелся добрый человек.*

Значит, умел же автор этой пьесы найти «доброего человека» даже в таком маленьком и затхлом переулке, а может ли быть, чтобы не нашлось справедливого человека во всей России? Какого рода справедливость требуется от «справедливого человека»? Требуется, чтобы он при виде общественной несправедливости нашел в себе смелость и решимость во всеуслышание сказать людям: «Вы ошибаетесь и идете по пути заблуждений: вот где справедливость».

Я цитирую это место из статьи одного публичного органа, который нет надобности называть. Я ручаюсь за одно: что приведенные мною слова напечатаны и что они очень многим казались глубоко верными; но я имел против них предубеждение. Я верил, что справедливый человек еще где-то уцелел, и я его действительно вскоре встретил. Я его видел в борьбе с целым обществом, которое он стремился победить один и не сробел.

Это было минувшим летом. Я выехал из Петербурга с одним набожным приятелем, который взманил меня посмотреть одно большое религиозное торжество. Путь был не длинен и не утомителен: прохладным вечером мы сели в вагон в Петербурге, а на следующее утро уже были на месте. Через полчаса мой набожный друг уже поссорился с соборным псаломщиком, который оказал ему какую-то непочтительность, а вечером, когда мой спутник уселся в занятом нами номере писать в Петербург жалобу на псаломщика, я, в сопровождении одного легконравного артиста, прибывшего сюда «читать сцены», отправился подышать свежим воздухом и кстати

посмотреть: чем здесь люди живы?

У нас в Петербурге в эти часы все порядочные люди живут, как известно, «при садовых буфетах», и здесь оказалось то же самое, а потому мы и попали без всяких недоразумений в общественный сад, где мой знакомый артист должен был показывать свои таланты.

Он здесь был не новичок и знал многих, и его знали многие.

Сад, куда мы пришли, был довольно большой для провинциального города, но более был похож на проходной бульвар. Впрочем, долевыe входы в него по случаю происшедшего в этот вечер платного концерта и представления были закрыты. Платящая публика входила только через один средний проход, сделанный в вогнутом полукруге. У ворот помещались дощатые будочки для продажи билетов, стояло несколько человек полицейских и несколько зевак, не имевших возможности пройти в сад по безденежью.

Перед этим входом в сад был маленький палисадничек, — неизвестно для чего здесь выращенный и огороженный. Он относился к саду, как передбанник к бане.

Артист прошел на «особом праве», а я взял билет, и мы вошли в ворота под звуки скобелевского марша, за которым следовало «ура» и опять новое требование того же марша.

Публики было много, и вся она жалась больше на небольшой лужайке, в одной стороне которой был деревянный ресторан, построенный в виде языческого храма. По бокам его с одной стороны возведен дощатый летний театр, где теперь шло представление, а потом должен был читать мой петербургский чтец; с другой «раковина», в которой помещался военный оркестр, исполняющий тот скобелевский марш.

Общество принадлежало, очевидно, к разнообразным слоям: были чиновники, офицеры армейского полка, купечество и «серый народ – мещанского звания». В более видных местах густел купец, а в отдалениях тучкой толкся полковой писарь с особенной дамой.

Утлые столики с грязными салфетками были наставлены очень часто один возле другого и все решительно заняты. Люди дружно производили публичное оказательство, чем они живы. В большом спросе были чай, пиво

и «проствейн». Только в одном месте я заметил человека, который вел дело солиднее: перед ним стояла шампанская бутылка с коньяком и чайник с кипятком для пунша. Пустых стаканов возле него было несколько, но сидел он одиноко.

Гость этот имел замечательную наружность, которая бросалась в глаза. Он был огромного роста, с густою черною растительностью, по которой и в голове и в бороде уже струилась седина, и одет он был чрезвычайно вычурно, пестро и безвкусно. На нем была цветная, синяя холщовая рубашка с высокими, туго накрахмаленными воротничками коляской; шея небрежно повязана белым фуляром с коричневым горошком, на плечах манчестеровый пиджак, а на груди чрезвычайно массивная золотая цепь с бриллиантом и со множеством брелоков. Обут он был тоже оригинально: у него на ногах были такие открытые ботинки, что их скорее можно было принять за туфли, и между ними и панталонами сверкали яркие красные полосы пестрых шелковых носков, точно он расчесал себе до крови ноги.

Он сидел за самым большим столом, который помещался на самом лучшем месте – под большою, старою липою, и, казалось, был в возбуждении.

Сопровождавший меня артист при виде этого оригинала сжал мне потихоньку руку и заговорил:

– Ба-ба-ба! Вот неожиданность-то!

– Кто это такой?

– Это, матушка, сужект первого сорта.

– В каком смысле?

– В смысле самом любопытном. Это Мартын Иваныч – дровяник, купец, зажиточный человек и чудак. В просторечии между своих людей именуется «Мартын праведник», – любит всем правду сказывать. Его, как Ерша Ершовича, по всем русским рекам и морям знают. И он не без образования – Грибоедова и Пушкина много наизусть знает, и как выпьет, так и пойдет чертить из «Горя от ума» или из Гоголя. Да он как раз для нас и в ударе – без шляпы уже сидит.

– Жарко сделалось.

– Нет; у него под шляпою всегда другая бутылка, на тот случай, если из буфета больше

подавать не станут.

Артист кликнул мимо пробежавшего лакея и спросил:

– У Мартына Ивановича под шляпой есть бутылка?

– Как же-с... прикрыта.

– Ну, значит, готов, и скоро будет представление какой-нибудь самой неожиданной и самой высокой справедливости! – Надо с ним повидаться.

Артист направился к Мартыну Ивановичу, а я побрел за ним и невдалеке наблюдал их встречу.

Артист остановился перед Мартыном и, сняв шляпу, с улыбкой молвил:

– Вашей справедливости почет.

Мартын Иванович в ответ на это протянул ему руку и, сразу бросив его на смежный пустой стул, отвечал:

– «Прошу, – сказал Собакевич».

– А я не хочу, – проговорил мой приятель, но в эту минуту перед ним уже стоял стакан пуншу, и Мартын опять повторил ту же прищаску:

– «Прошу, – сказал Собакевич».

– Нет, право я не могу, – мне сейчас надо читать.

Мартын выплеснул пунш на землю и привел какую-то ноздревскую фразу.

Мне это не нравилось: я понял, почему все бежали от этого антика. Оригинал действительно был оригинален, но только мне казалось, что в нем сидит не один Собакевич, а и Константин Костанджогло, который рыбью шелуху варит. Только Костанджогло теперь подпил и с непривычки еще противнее хаёт весь свет. Он заговорил, что «все у нас подледы»; и когда публика опять потребовала скобелевский марш, вдруг беспричинно встал и зашикал.

– Чего это он? – спросил я отошедшего от него приятеля.

– Переложил немножко справедливости. А впрочем, пора в театр.

Я ушел с приятелем и приютился у него в уборной. Пели, читали и опять вышли в сад.

Спектакль был кончен. Публика значительно редела и, расходясь, еще требовала скобелевский марш. Мы без затруднения нашли столик, но по счастью или по несчастью

попались опять «visавидом» с нашим Мартыном Ивановичем. Он за время нашего отсутствия еще успел повысить свою чувствительность, и его справедливость, видимо, требовала у него уже гласного оказательства. Он теперь уже не сидел, а стоял и декламировал, но не стихи, а прозаический отрывок, который действительно обязывал признать в нем весьма значительную для человека его среды начитанность. Он валял на память места из похвального слова Захарова Екатерине, которое находится в «Рассуждении о старом и новом слоге».

– «Суворов, рекла Екатерина, накажи! – Как бурный вихрь взвился он от стрегомых им границ турецких; как сокол ниспал на добычу. Кого увидел – расточил; кого натек – победил; в кого бросил гром – истребил. Было и нет. Европа содрогнулась... и...»

Но в это время публика опять потребовала «Скобелева марш», и за исполнением этой пьесы оркестром стало не слышно, что вещал Мартын Иванович; только когда марш был кончен, разнеслось опять:

– «Надлежит чтити праотцев и неудобь се-

бе точною высоко мыслити!»

– Чего этот человек добивается? – спросил я приятеля.

– А правды, правды, государь мой, он справедливости добивается.

– На что она ему теперь?

– Она ему необходима: праведен бо есть и правоты вид являет лице его. Вот он сейчас ее и явит! Смотрите, смотрите! – закончил рассказчик. И я увидел, что Мартын Иванович вдруг снялся с своего места и неверными, но скорыми шагами устремился к проходившему мимо пожилому человеку в военной форме.

Мартын Иванович нагнал этого незнакомца (который оказался капельмейстером игравшего оркестра), моментально схватил его сзади за воротник и закричал:

– «Нет, ты от меня не скроешься, – сказал Ноздрев».

Капельмейстер сконфуженно улыбался, но просил его оставить.

– Нет, я тебя не оставлю, – отвечал Мартын Иванович. – Ты меня измучил! – И он подвинул его к столу и закричал: – Пей за обиду оскорбленных праотцев и помрачение потом-

цев!

– Кого я обидел?

– Кого? Меня, Суворова и всех справедливых людей!

– И не думал, и не располагал.

– А для чего ты целый вечер скобелевский марш зудишь?

– Публика требует.

– Ты меня измучил этой несправедливостью.

– Публика требует.

– Презирай публику, если она несправедлива.

– Да в чем тут несправедливость?

– Отчего Суворову марша не играешь?

– Публика не требует.

– А ты ее вразумляй. Раз сыграй Скобелеву, а два раза Суворову, потому он больше воевал. Да! И вот я тебя теперь с тем и отпускаю: иди и сейчас греми марш Суворову.

– Не могу.

– Почему?

– Нет суворовского марша.

– Как нет марша Суворову? «Суворов, рекла Екатерина, накажи! Он взвился, ниспал, рас-

точил, победил, Европу содрогнул!..» И ему марша нет!

– Нет.

– Почему?

– Публика не требует.

– Ага... так я же ей покажу!

И Мартын Иванович вдруг выпустил из своих рук капельмейстера, встал на стол и закричал:

– Публика! ты несправедлива, и... за то ты свинья!

Все зашумело и задвигалось, а возле стола, с которого держал речь Мартын справедливый, явился пристав и начал требовать, чтобы оратор немедленно спустился на землю. Мартын не сходил. Он отбивался ногами и громко продолжал укорять всех за несправедливость к Суворову и закончил вызовом, бросив вместо перчатки один башмак с своей ноги. Подоспевшие городовые схватили его за ноги, но не остановили смятения: в воздухе пролетела вторая ботинка, стол опрокинулся, зазвенела посуда, плеснули коньяк и вода, и началась свалка... У буфета по чьему-то распоряжению мгновенно погасили фонари, все

бросились к выходу, а музыканты на эстраде нестройно заиграли финальное: «Коль славен наш господь в Сионе».

Мы с приятелем примкнули к небольшой кучке любопытных, которые не спешили убежать и ожидали развязки. Все мы теснились у того места, где полиция унимала расходившегося Мартына Ивановича, который мужественно отстаивал свое дело, крича:

– «Екатерина рекла: Суворов, накажи... Он взвился, ниспал, расточил, содрогнул».

И он замолк, или от того, что устал, или ему помешало что-нибудь иное.

В теперешней темноте было трудно разглядеть, кто как кого тормозит, но голос справедливого человека раздался снова:

– Не души: я сам иду за справедливость.

– Не здесь доказывают справедливость, – отвечал ему пристав.

– Я не вам, а всему обществу говорю!

– Пожалуйста в участок.

– И пойду – только дальше руки ваши.

– Пожалуйста!

– И пойду. Руки прочь! Нечего меня обнимать. Ничего мне не может быть за Суворо-

ва-Рымникского!

– Господа, посторонитесь – осадите.

– Я не боюсь... Почему Суворову марша нет?

– Мировому судье жалуйтесь.

– И пожалуюсь! Суворов больше!

– Судья разберет.

– Дурак ваш судья! Где ему, черту, разобрать.

– Ну вот!.. Это все в протокол.

– А я вашего судью не боюсь и иду! – выкрикнул Мартын. – Он раздвинул руками полицейских и пошел широкими шагами к выходу. Ботинок на нем не было – он шел в одних своих пестрых носках...

Полицейские от него не отставали и старались его окружать.

Из рядов остававшейся публики кто-то крикнул:

– Мартын Иванович, сапожки поищи... обуйся.

Он остановился, но потом махнул рукою и опять пошел, крикнув:

– Ничего... Если я справедливый человек, я так должен быть. Справедливость всегда

без сапог ходит.

У ворот Мартына посадили на извозчика и повезли с околоточным.

Публика пошла каждый кому куда надо.

– А ведь он, однако, и в самом деле справедливо рассуждал, – говорил, обгоняя нас, один незнакомец другому.

– В каком роде?

– Как хотите – Суворов ведь больше Скобелева воевал, – зачем ему в самом деле марша не играют.

– Положенья нет.

– Вот и несправедливость.

– А ты молчи, – не наше дело. Ему мировой-то, может быть, должен, а тебе нет, так и нечего справедливничать.

Приятель дернул меня за руку и шепнул:

– И если хотите знать – это настоящая правда!

Когда я раздевался в своем номере, по коридору прошли, тихо беседуя, двое проезжающих; у соседней двери они стали прощаться и еще перебросились словом:

– А ведь как вы хотите, в его пьяном бреде была справедливость!

– Да была-то она была, только черт ли в ней.

И они пожелали друг другу покойной ночи.